

Сад

Там пахло дичкой. Сад заглох, зарос.
Тянул малинник плети одичало.
Крыльцо торчало в зелени причалом
для тонущих в безветрии стрекоз.

Горячих досок ржавь и духота.
Слепые окна. Выцветшие шторы.
Здесь тоже процветала суета.
Бывало, на задворках у забора
всё ухали вдвоём — колун и дед.
Качались и лысели одуваны.
Тянуло дымом к вечеру, туманом.
Просёлок, уходящий на просвет —
в закат, в луга, — дышал горячей пылью,
на выдохе тревожа мотыльков...

И мы с тобою тут когда-то жили —
под сводом деревянных потолков,
вишнёвых крон и птичьего бедлама.
Так в забытьё однажды забредёшь —
и сонных трав сиреневая дрожь
болит в тебе бессмысленно, упрямо.

Долой, домой, какая ерунда...
Сбежишь, уедешь с первой электричкой.
А дома хорошо. Всё как всегда.
Зайдёшь, вздохнёшь...

И только слышишь, да,
как пахнет дичкой?..

Этот снег

Проснёшься ни жива и ни мертвa
и слушаешь, как маются ветра,
вздыхают меж чердачных перекрытий.

И, сон не выпуская из-под век,
подслушиваешь: вдруг ложится снег?
Чтоб утром выйти —

а там, впотьмах, родился белый день.
Он веточками трогает людей,
пуглив и любопытен. Так улитка

нащупывает рожками простор —
то высунет, то спрячет, до тех пор
пока всё зыбко...

И думаешь о белом в темноте,
и снится до утра потом метель,
поля в кромешной сизой поволоке,

дома, дымы, ползёт дорога вдаль...
Проснёшься — дворник шкрябает асфальт
и выдыхает, надувая щёки.

И выглянешь в предутреннюю тьму
и всё за этот снег простишь ему.

Берёза

Скрипят ступеньки сонно, через раз.
В подъезде пахнет жареной картошкой.
Приду, поставлю чайничек на газ.
Гляжу в окно. Вся жизнь — как понарошку.

Вот так спроси: а сколько же мне лет? —
и растеряюсь. Я не знаю толком.
По сумме окружающих примет
я потерялась, как в стогу иголка,

между пятью (берёза во дворе,
пора гулять, на вешалке пальтишко)
и двадцатью (берёза во дворе,
и пачка «Явы» скурена почти что).

А может, тридцатью (в окне зима,
и на берёзе иней и вороны,
у дочки грипп, и ночь темным-темна,
тревожна, бесконечна и бессонна)

и сорока пятью (зима, ликёр,
сын начал бриться — и растут же дети!
У дочери роман. Всё тот же двор,
берёза, двухэтажки, снег и ветер).

А чай остыл. И в доме тишина.
Никто так и не задал мне вопроса.
И в раме запотевшего окна
бела берёза...

* * *

Я буду жить,

пока я вижу мир чудным и чудным,
принюхиваюсь к снегу, как щенок
в свой первый зимний день. Пока не трудно,
ни дней, ни слов не запасая впрок,

сказать «люблю», когда люблю и впрямь —
тебя и осень, долгую дорогу,
где что случись — и дело сразу дрянь,
такая нелюдская глухомань,
ей-богу.

Люблю поля в заржавленной траве,
заснеженных борозд глухие шрамы
и кое-как залатанные храмы
на бедность, на безлюдье да навек.

Люблю садов обветренную голь,
где на буграх там-сям чернеют срубы —

так старики, поджав сухие губы,
привычно и покорно терпят боль...

Пока меня хранит, как оберег,
моя печаль о зыбком и непрочном,
но рано утром в стрёкоте сорочьем
опять ложится самый первый снег,

я буду жить.

Пригляди за ней

Белый коридор, белые кровати.
Буду на тебя, Боже, уповати.
Только у Тебя в той графе прочерк,
у Тебя, Господь, не было дочек.

Я расскажу, Господи, а Ты слушай.
В целом мире нет девочки моей лучше.
Ты же видел, Господи, небо на дне реки
и по краю поля звёздочки-vasильки?
Летом, в июле, вспоминай, Господи, ну же!..
Вот у дочки моей глаза и синей, и глубже.

Ты за мной не смотри, Господи, время своё не трать.
У неё у окошка в больнице стоит кровать.
Ты бы, как доктор уйдёт, на край присел,
Отче наш, сущий на небесех.
И она у меня одна, и Ты один.
Пригляди за ней, Господи, пригляди...

Если можно

Господи, дай, пожалуйста,
силы принять, как есть,
всё, что придёт однажды
сквозь дождевую взвесь:

холод осенней ночи,
зимнюю темень дней,
оспины многоточий
на тишине Твоей,

эхо взамен ответа,
тени в Твоей дали
и (если можно — летом)
бремя Твоей земли.

* * *

Побереги слова для новых дней.
Сегодня мне молчать теплей и проще.
Среди полей, у края тощей рощи
уже апрель, как дикий злак, пророщен,
как звук во мне.

Сейчас дождя холодный перестук
осмысленней любого разговора.
Открой окно — и оживает штора,
и сразу отбивается от рук.

Ты слышишь — распевает свиристель.
От этих песен маетно и странно.
Моим губам, иссохшим в немоте,
целебны поцелуи и туманы.

Слова сейчас беспомощны, смешны,
и сути в них, и чувства ни на йоту.
И мы с тобой без них обнажены,
и мы — оркестр начальной тишины,
и ягоды на ветках, словно ноты.